

Невидимое животное

Однако речь здесь не идет о том, чтобы попытаться обрисовать контуры – уже не человеческие и не животные – некоего нового создания, которое рискует стать еще одним мифом. В нашей культуре человек – как мы это видели – всегда являлся результатом разделения и в то же время сочленения животного и человека, где один из двух терминов этой операции всегда оказывался под вопросом. Приостановить работу машины, управляющей нашим пониманием человека, означает, следовательно, уже не искать новые – более продуктивные или более истинные – точки сочленения, но скорее демонстрировать ту исходную пустоту, то зияние, которое разделяет – в человеке – человека и животное, отважиться войти в него: цезура цезуры, *Shabbat* как животного, так и человека.

И если, следуя расхожему клише, мы скажем, что «лицо на песке», которое науки о человеке вылепили на кромке прибора нашей истории, должно быть когда-нибудь окончательно смыто, то на его месте все же появится не новый *mandilion*, или вероника, вновь обретенной человечности либо возобновленного животного начала. Праведники со звериными головами на миниатюре Амвросия не столько представляют новый поворот в отношении «человек – животное», сколько являются воплощением образа «великого незнания», позволяющего и первому и второму быть вне бытия, спасенными в самом их бытии – бытии, лишенном спасения. Вероятно, все же существует возможность того, что живые существа смогут воссесть на мессианском пиру праведников, не исполняя никаких исторических миссий и не участвуя в работе антропологической машины. Но главное в том, что исчезновение *mysterium coniunctionis*, из которой возникло человеческое, связано с небывалым углублением в практико-политическую тайну этого разделения.

Левиафан, символ необоримой мощи, в наши дни чаще вспоминается в связи с книгой Томаса Гоббса, чем в связи с Ветхим Заветом. Для нынешних авторов отдельной и трудной задачей является реконструкция мифологии Левиафана. Мы уже не чувствуем того, что чувствовали не только современники Гоббса, но и те, кто жил много позже. Карл Шмитт в книге о «Левиафане» Гоббса утверждал, что философ промахнулся, выбирая символ государства. Традиция отношения к Левиафану была такова, что не почтение, но ужас вызывало упоминание о нем¹. Утверждение спорное, во всяком случае нам нужны дополнительные усилия, чтобы осознать этот ужас читателей Гоббса и понять сам замысел автора. Кроме того, «Левиафан», так сказать, «иллюстрированное издание». Кто не помнит изображение на фронтиспise? Мифического Левиафана там нет, а есть составленный из множества тел огромный человек со знаками монаршей и епископской власти. Хорст Бредекамп употребил титанические усилия для реконструкции иконографической традиции, в которой создан этот рисунок². Фигура могучего

¹ См.: Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / Пер. Д. Кузицына. СПб.: «Владимир Даль», 2006.

² См.: Bredekamp H. Der Leviathan. 3. Aufl. Berlin: Akademie-Verl., 2006.

существа должна была сделать зримым невидимое тело государства, символика должна была мотивировать – вот идея, которую так или иначе мы прочитываем в современных интерпретациях «Левиафана». Исторический контекст, говорят нам, очень важен; если не принимать его во внимание, Гоббс может показаться совершеннейшим новатором, тогда как многие его идеи в пору создания знаменитого труда не казались совершенно оригинальными (такова точка зрения Квентина Скиннера). Но «Левиафан» все-таки можно читать и по-другому, *as is*. Взаимосвязь идей имеет свою логику – это тривиальная истина, но она часто забывается, когда на передний план выходит исторический подход. Связь идей книги с идеями и обстоятельствами вне ее не более важна, чем внутренняя связь! Внимательное и нетенденциозное (хотя бы по намерению) чтение имеет свои преимущества. Поэтому мы попытаемся предпринять очень традиционный, ограниченный, сугубо логический анализ, задавшись одним простым вопросом: что значит трактовать государство-Левиафан как живое существо, как животное? Что говорит об этом сам Гоббс, и к каким выводам он приходит?

Рассуждения Гоббса во Введении к «Левиафану» таковы.

Человек подражает природе и создает искусственное животное (*Artificial Animal*) (р. 8 [1])³. Природа – это тот способ (*Art*), каким Бог создает мир и управляет им. Искусство (*Art*) – человеческий способ творчества, посредством которого может быть создана *искусственная жизнь* (*artificial life*). К понятию искусственной жизни Гоббс приходит следующим образом. Мы видим, говорит он, что жизнь – это движение членов, берущее начало в некоторой главной части, располагающейся внутри организма. Но разве иначе устроены автоматы, например часы, приводимые в движение пружинами и колесами? И, в свою очередь, чем серд-

це не пружина, а суставы – не колеса? Но человек идет еще дальше. Он подражает природе в создании самого разумного живого существа, человека, только это – огромный искусственный человек, государство, Левиафан.

Гоббс, таким образом, опирается на то, что *зримо*, и переходит к тому, что *незримо*. Мы видим, говорит он, движение. Видение жизни есть видение движения, причем источник этого движения невидим, он скрыт в главной части (*principal part*) организма. Так понятый организм неотличим от автомата. Но описание организма не очень похоже на описание автомата. Что касается животного, говорит Гоббс в гл. VI «Левиафана», его движения суть дух родов: одни берут начало в *рождении*, другие – в ощущении и воображении. Движения первого рода Гоббс называет *витальными* (*vitall*, в русском переводе А. Гутермана они названы органическими), а второго – животными (*animall*, по-русски они названы анимальными), или произвольными. К первым он относит дыхание, течение крови, питание, испражнения и т.п. Вторые – это речь и движения всех членов, как они первоначально представляются нам в воображении.

Здесь мы подходим к любопытному вопросу. Оказывается, те зримые явления жизни, которые Гоббс называет вначале, неоднородны. Движения членов могут быть, конечно, и витальными, и произвольными, хотя, судя по примерам, собственно движения (а не то, что мы бы сейчас назвали обменом веществ) относятся почти исключительно ко второму роду. Пружинка-сердце – это еще не все, что может их вызывать, а то, что оно вызывает, в общем, не так легко найти у автомата. Автомат, поднимающий руку или вертящий головой, нам и до сих пор, через несколько столетий после Гоббса, вообразить себе куда легче, чем автомат, у которого искусственное сердце вызывает искусственный кровоток, а поглощение пищи чередуется с испражнением. Важные видимые движения по преимуществу произвольны. Откуда же берется чувство и воображение? Гоббс отвечает на этот вопрос. Движение приходит извне, говорит он, внешние вещи действуют на нас, производя движение в наших чувствах, направленное вовне. Остаточное движение такого рода и есть то, что становится внутренним ис-

³ Ссылки на английский оригинал (первое издание 1651 г.) даются по электронной факсимильной версии, воспроизводящей издание: Hobbes's *Leviathan*. Reprinted from the edition of 1651. With an essay of the late W. G. Pogson Smith. Oxford: Clarendon Press, 1909 // http://olddownload.libertyfund.org/Texts/Hobbes0123/Leviathan1909/0161_Bk.pdf. В квадратных скобках номера страниц оригинального издания.

точником произвольного движения. За всяким видимым, различимым движением стоят невидимые движения. Но сколь бы ни были они малы, такие движения есть, и ничто иное, кроме движений, не может быть таковым истоком. Стремления, вождения, все эти внутренние причины суть на самом деле причины внешние, перенесенные внутрь, внутреннее – это продолжение внешнего. Идея эта, разумеется, далеко не нова. Но она имеет продолжение в области политической философии Гоббса, которая нова и оригинальна и в которой трактовка *животного* получает особое развитие.

Левиафан, мы помним, это не просто огромное животное. Это символ огромного человека, который и есть государство, искусственное живое тело и смертный бог. Но чем человек отличается от животного? – Любознательность, отвечает Гоббс все в той же главе VI. Этого желанья «знать почему и как», желанья «знать причины» нет «ни у одной живой твари, кроме человека», «так что от других животных человек отличается не только разумом, но и этой уникальной страстью» (р. 44 [26]). О самом же Левиафане как живом существе Гоббс говорит очень немного. Один раз, во Введении, он указывает, что именно искусством был создан великий Левиафан, называемый республикой (*Commonwealth*), или государством, каковой и есть не что иное, как Искусственный Человек (*Artificial Man*) (р. 8 [1]). В другом месте, в знаменитом пассаже главы XVII, где разъясняется характер общественного договора, он говорит о соединении множества (*multitude*) людей в одно лицо, которое снова именуется республикой, или государством, добавляя, что это и есть рождение того великого Левиафана (говоря более почитательно, уточняет он, того смертного Бога), которому мы обязаны миром и защитой. Он использует силы и мощь собранных в нем людей и, тем самым внушая страх, может придать такую форму волям всех их, которая обеспечивает внутри мир, а вовне – взаимопомощь (см.: р. 172 [87–88]). Наконец, в гл. XXVIII Гоббс прямо указывает на те стихи 41-й главы книги Иова, где содержится указание на могущество Левиафана, которого Бог называет царем гордости. Но при этом Гоббс говорит: я сравнил *правителя* (*Governor*) с Левиафа-

ном (р. 246 [166]). И далее о том, что этот Левиафан смертен и подвержен распаду (*decay*).

Так вырисовывается круг важных вопросов: 1) является ли могучим Левиафаном правитель государства или само государство? 2) является ли могучий искусственный человек во всем подобием человека, за исключением размера и мощи? 3) почему огромный искусственный человек символизируется могучим животным? Эти вопросы столь же стары, как стары споры о Гоббсе. Но что – повторим еще раз наш первоначальный аргумент – говорит нам само сочинение? Одно положение Гоббса, казалось бы, особенно нуждается в том, чтобы растолковать его в связи с традицией. Это свободный переход от правителя к государству. Разумеется, здесь можно говорить о «двух телах короля», т.е. исходить из того, что и для Гоббса, как и для юристов, о которых писал Э. Канторович, суверен имеет два тела, смертное и бессмертное, и государство – это второе тело короля. Но дело все-таки в другом. Любое тело для Гоббса – составное. Тело государства состоит из тел людей, суверен – его главная часть, подобная пружине автомата. Гоббс говорит, что верховная власть в этом Левиафане – «искусственная душа». От суверена члены государства получают движение, как тело от души (см., например, в гл. XXI, р. 170 [114]). Но мало этого. Левиафан – это имя, некоторое обозначение вещи. Когда кто-то совершает что-то по чужому приказу, мы не назовем его действия своевольными, мы вменим их приказывающему. На этом держится правильное устройство государства. Точно так же мы называем Левиафаном и все государство, и суверена, потому что наблюдаемые движения государственного тела берут начало в суверенной воле, соединяющей и формирующей воли подданных. Наблюдаемые движения государственного тела – это действия разных людей, которые авторизованы государственной властью.

Второй вопрос более сложен. У нас нет простого ответа на него, одни только утверждения Гоббса об огромном искусственном человеке не могут нас удовлетворить. Мы видели, что у человека есть основное свойство, отличающее его от животного. Это не просто разум как таковой. Это особого рода страсть к исследова-

нию причин, любопытство. Можем ли мы приписать любопытство Левиафану? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала представить себе, как могло бы выглядеть такое любопытство. Ведь Левиафан как любопытствующее животное должен был бы как-то проявлять это качество! Между тем нам не удастся найти ничего, что могло бы свидетельствовать о таких свойствах. Гоббс говорит о питании, самосохранении, распаде, смерти Левиафана, но он не говорит ни об одной *человеческой* черте его. Все «интеллектуальные» характеристики Левиафана суть характеристики живого, причем вопрос о том, просто ли оно *живое* (таким могло быть названо и растение) или же оно обладает способностью совершать произвольные движения, сам по себе непрост. Но любопытства у него точно нет. Нет у него также и желания помериться силами с другими подобными существами, нет зависти к чужому могуществу, нет страха.

Левиафан, таким образом, мало чем напоминает человека. И это тем более примечательно, если мы представим себе, каким образом Левиафана можно увидеть. У всех аналогий с животными и автоматами, которые приводит Гоббс, есть одно важное отличие от опыта граждан государства. Если мы исследуем живое существо или автомат, мы находимся вне его, мы видим движения, но не видим главной части, будь то душа или сердце. Как уже говорилось вначале, мы делаем заключение от внешнего видимого к внутреннему невидимому. В случае с Левиафаном дело обстоит иначе. Мы видим движения людей, но нам требуется совершить некий в высшей степени примечательный ход мысли: не внутри человека, к его главной части, а вовне, к той главной части, которой является суверен. Как исследователь смотрит на автомат? Видя, что искусственный человек поднимает руку, он готов залезть внутрь, дабы обнаружить пружину и колесики. Глядя на естественного человека, который несет вещь, исследователь выясняет, что эта вещь есть, скажем, часть натурального налога и принадлежит государству, которому и доставлена в соответствии с законом или приказом. Видимые характеристики вещи тем самым не изменяются, как не меняется и характер наблюдаемого движения. Все изменения касаются только трактовки смысла, как сказали бы

мы сейчас на языке социологии, родоначальником которой является Гоббс. Но здесь не нужна чрезмерная модернизация. Дело не просто в назывании, дело в том, что видимое мы трактуем как внутреннее, а невидимое как внешнее, объемлющее это внутреннее. Движение от видимого к невидимому сохраняется. Движение от внешнего к внутреннему меняет направление. Но извне внутрь можно действительно проникнуть, например вскрыв автомат или препарировав животное. Изнутри вовне обычным образом двинуться нельзя, для словно бы видения нужна работа воображения, которую Гоббс предлагает нам заменить работой рассуждения.

Конечно, передвижения войск, устройство укреплений, регуляции внешней торговли, вручение наград и исполнение наказаний – все это видимые движения Левиафана, причем велик соблазн называть их именно произвольными движениями. Ведь каждое задумано, спланировано, за ним стоит намерение, а не просто органический цикл питания-исправления. Но здесь важно представить себе позицию наблюдателя. Как видится Левиафан? Ясно, что изнутри, во всяком случае не непосредственно. Труд Гоббса не случайно начинается с исследования о природе имен и определен (специально – в гл. IV). Важно не только увидеть движение тела, но и правильно его назвать. Смысл книги – в правильном назывании и построении правильных рассуждений из правильно данных имен. Однако мы можем мысленно представить себе, где именно, в каком месте находится тот, кто видит государство телом Левиафана и старается путем рассуждений убедить тех, кто не может видеть и не способен вообразить так, как он. Не следует ли подумать, что этот наблюдатель находится вне государства, именно так, как Гоббс в эмиграции? Тогда ему гораздо легче увидеть *внешность* огромного тела, в отличие от тех, кто находится внутри. Но именно о внешности Левиафана мы не узнаем почти ничего. Нам представлены его анатомия и физиология, а не облик. Правда, повадки и нрав Левиафана можно опознать, если идентифицировать его как правителя. Но и это не даст нам возможности увидеть его так, как художник изобразил тело тел.

Не систематически, возможно сам не замечая того, Гоббс внушает читателю позицию внешнего наблюдателя, но такого, который переместился внутрь, смотрит изнутри и ощущает себя, подобно героям Рабле, путешествующим по внутренностям великанов, которых когда-то видел снаружи. Однако какое животное живет во внешнем мире? Не любопытное, хотя и рассудительное. Скорее бесстрастное, чем одолаваемое специфическими страстями (душа его, человек-суверен, не может не иметь страстей, но мы говорим об особых страстях самого Левиафана). И, самое главное, специфическим образом неподвижное.

Конечно, приращение государственного тела возможно. Появляются новые территории, новые люди. Но государство вместе с тем неподвижно, поскольку оно не кочует, не перемещается между территориями. Пусть оно ведет *морское существование*. Оно не кочует по морю, но только распускает в нем свои щупальца, его гигантское тело достигает иных берегов, но достигает лишь частично, собственно, сам Левиафан не сдвигается с места, ибо связь государства и территории никуда не делась. Такая трактовка противоречит прежде всего тому, что писал о Левиафане Шмитт. В небольшом сочинении «Суша и море» и в монументальном труде «Номос земли в праве народов *Jus Publicum Europaeum*» он говорит о государстве, выбравшем морское существование, как о Левиафане, плещущемся в морях. Левиафан Шмитта – это и мифическое животное, и великая «рыба-кит», за которой охотятся старинные китобойи, и, конечно, государство. Он предостерегает читателя от слишком простых аналогий. «Военный корабль, – говорит Шмитт, – кажется нам плавучей крепостью, а такой остров, как Англия, – замком, который, как ров, окружает море. Но для человека, ведущего морское существование, все это – совершенно ложные перенесения, порожденные фантазией сухопутных крыс. Корабль – вовсе не плавучий кусок суши, точно так же, как рыба – не плавучая собака»⁴. Особенность морского существования такова, что трактовать его, наподобие сухо-

путного, невозможно. «Маленький остров на северо-западной окраине Европы стал центром мировой империи, отвернувшись от прочной суши и решительно выбрав море. В чисто морском существовании он обнаружил средство мирового господства, распространяемого на всю Землю»⁵. Пожалуй, в этом слове – *распространяемого* (*verstreuten*) – и кроется ключ к ответу. Шмитт не додумывает до конца свои рассуждения. Он прав, наверное, когда, трактуя Гоббса, говорит о государствах во множественном числе как о Левиафанах в естественном состоянии. Но здесь нужна осторожность. Государство – Левиафан, и Гоббс не говорит о том, что оно одно на свете, отнюдь нет. Но нигде мы не встретим у него утверждений, будто Левиафан – не один. Почему? Допустим, что в главном Шмитт прав. Корабль – не крепость, рыба – не собака, хотя бы даже и плавающая, а Левиафан – именно что не рыба. Он плещется, но не плавает, не снимается с места. Он распространяется. Это касается не просто государства, но именно государства, выбравшего море. Оно словно бы распускается в океане, не перемещая в нем свое тело, но насыщая своим телом водную стихию. Впрочем, здесь мы уже покидаем прочную почву текста и рискуем выбрать слишком авантюрную стратегию изложения.

Что же остается? Не видимое, но только воображаемое, с уверенностью называемое, но, в сущности, необозримое животное лишено человеческих свойств и самой человечности, что бы ни понимать под этим словом. Огромный человек сооружен не для того, чтобы интересоваться, и не для того, чтобы совершать произвольные движения. Он уподобен Левиафану, но Левиафан не плавает, не перемещается всей тушей. Он прилипает к территории и отсюда распространяется в водах. Он пульсирует, в нем движутся люди и вещи. Он ест, но не испражняется. Силась увидеть его, мы замечаем фигуру суверена. Суверен – лицо (или множество лиц, но это теоретическое допущение не имеет практических следствий для нашей темы), которое репрезентирует и символи-

⁴ Schmitt C. Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. Kön–Löwenich: Hohenheim, 1981, S. 93.

⁵ Ibid., S. 89.

зирует государство, он источник произвольных движений, только этим и оправдано именование его Левиафаном. Когда же мы пытаемся представить себе его облик, Левиафан и в самом деле наводит ужас, гораздо больший, по сравнению с тем, который могла «сообщить» традиционная мифология. Пожалуй, он больше похож на какого-нибудь мутанта из современного фантастического кинотриллера, однако еще никому не пришло в голову представить такое чудовище символом государства. Возможно, впрочем, что Гоббс опередил не только свое, но и наше время.

||